

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*



Выходит четыре раза в год

МОСКВА — ПАРИЖ

3·92

73

Издательство «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

ВЕРМЕЕР¹

Поэма

A.Кушнеру

* * *

Я говорю: «Марсель²,
вот — Александр Великий».
И мы глядим отсель
на Дельфт, почти безликий,
поскольку он теперь
Вермеера владенье,
и нам открыта дверь
в одно столпотворенье.
Все так же желт фасад
и гнилостны каналы,
но триста лет назад
все кануло в анналы
и сведено на нет,
запродано навечно
за несколько монет
(искусство бессердечно!).
Ну, что ты, Александр?
Ведь ты об этом грезил,
не ватник, не скафандр —
тебе достался блейзер.

¹ Вермеер Дельфтский Ян (1632—1675) — голландский живописец.

² Имеется в виду французский писатель Марсель Пруст (1871—1922), почитатель и знаток творчества Вермеера, вводивший вермееровские мотивы в свои романы.

Евгений
РЕЙН

— родился в 1935 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский технологический институт. Автор поэтических книг «Имена мостов» (1984), «Темнота зеркал» (1990), «Береговая полоса» (1990), «Непоправимый день» (1991), «Против часовой стрелки» (1991).

И у меня такой,
повяжем общий гастук,
и за другой рекой
зальем за общий галстук.
Как хорошо одним,
без жен и без дивчины,
напиться в синий дым,
три дня не брить щётины.
Вот встретимся с тобой
у Гроба мы Господня,
но не играй судьбой,
судьба по сути — сводня.
Она сводила нас
на Среднем и на Малом¹,
она водила нас
по общим бредням шалым,
к Ахматовой вела
в пучину Петроградской.
«Такие вот дела», —
сказал бы призрак датский.
Еще и Колизей,
и Вырица, и Нальчик...
Как тихо без друзей!
Ты понимаешь, мальчик?

* * *

В отеле «Виллидж» на канале,
где антикварный магазин,
мы как-то переночевали,
я и приятель мой один.
Он звался Кейсом. Милым «фейсом»
привлек немало важных дам,
и по голландским плоским весям
мы с ним пробрались в Амстердам.
И тотчас он меня забросил,
скупал гашиш и героин,
и я один полсуток прожил,
совсем один, совсем один.
Скучал, играл на биллиарде,
пил пиво и голландский джин,
и пробовал бродить по карте,
совсем один, совсем один.
Я побывал у антиквара,

¹ Средний и Малый — проспекты на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге.

что первый занимал этаж,
и столько было там товара,
что впал я в безутешный раж.
Здесь были Гойя и Вермеер,
и Клод Моне, и Эдуард,
но я все миллионы мерил
лишь ставками на биллиард.
Почем в Москве сегодня Гойя?
А К. Моне? А Э. Мане?
Но никогда не знать покоя,
играя в пирамидку, мне.
Поскольку этот стол, и лампа,
и световой под нею нимб
талантом одного голландца
уже попали на Олимп.
Что мне чужие натюрморты
(Я отдал Эрмитажу дань),
когда за столик на три морды
приносят в баре «Фин-шампань».
Поскольку ночью Кейс вернулся
и с ним прелестница одна,
он к героину повернулся,
но к «рейнвейну» — она.
И я остался с этой дамой
и объяснил ей, как умел,
что здесь скрыт музейный самый
Ватто, Пуссен и Рюисдел.
Но только выпив «Фин-шампани»
и вкусы исказив в душе,
я объяснил ей, что в шалмане
чтят Фрагонара и Буше.
И, наконец, она согласна,
Буше ей тоже по душе,
и это было так прекрасно,
но только кончилось уже.

* * *

«Мы жили рядом. Два огромных дома...
...в столице этой брошенной и ныне
считающейся центром областным...»¹
Мы жили рядом, но худая слава
водила нас налево и направо.
Мы были незнакомы десять лет,

¹ Начальные строки поэмы Е. Рейна «Узел».

и только наш домовый комитет
сводил нас вместе возле паспортистки
по поводу квартирплаты и прописки.

Ее я помню резвой пионеркой,
потом одну, потом с подругой Веркой,
потом в компашке дерзких пареньков.
Все ерунда. Не ерунда Линьков.

Он тут же жил на улице Разъезжей,
но словно обитатель побережий,
где меловые скалы и Кале...

А впрочем, первый парень на селе.
Блондин с фигурой легкого атлета,
он где-то проводил за летом лето,
в каких-то альпинистских лагерях,
где, впрочем, возмужал, а не зачах.
Он был уже студентом Техноложки,
куда на «двойке» ездил на подножке
и, изгибаясь, словно дискобол,
как уголовник, мелко наколол
татуировку «Ася»...

О, сильный довод, истое причастье...
Профессорский сынок, а не шпана,
он этим чувство доказал сполна.

Он был вознагражден, как мне казалось,
но мне-то что, и все же прикасалась
ко мне при встрече подлинная страсть...

Я школу кончил и однажды — шасть
в Москву на кинофакультет особый,
и — поступил. И сразу стал особой.

«Москва, Москва, как много...» Но чего?
Теперь не понимаю ничего.

И вот на пятом курсе практикантом
я прикатил на берега Невы,
отмеченный сомнительным талантом,
конечно, сноб, и с ног до головы...

...«И я поднимаюсь на сто второй этаж,
там буги-вуги лабает джаз,
Москва, Калуга, Лос-Анжелос,
объединились в один колхоз...»

А в общем, братцы, этаж шестой,
я не женатый, я холостой.

Зачем же ехать так высоко,
когда на первом кабак «Садко».

Но здесь играет Сэм Гельфанд сам,
и мед и пиво нам по усам.

Здесь Бакаютов, здесь Карташов,
и так уютно, так хорошо.

Но тут бывают Дымок, Стальной,
и Мотя с финкой, и сам Нарком,
ни слова больше об остальном,
уже мильтоны висят на нем.
Они изящны, они добры,
«Казбек» предложат, а то «Пэлл-Мэлл».
И сам я думал так до поры,
покуда суть не уразумел.
Предпочитаю этаж шестой,
оттуда виден пейзаж пустой,
но нам на «крышу» — и хошь, не хошь,
мы там просаживаем каждый грош.
Там удивительный прейскурант,
и там у каждого свой приз и ранг,
и коль не вышел на ранг Линьков,
то первый приз ему всегда готов.
Он удивителен, на нем пиджак
из серой замши, на нем нейлон,
и до чего же он не дурак,
всегда сидит он у двух колонн.
Викуля, Люля и Ася с ним,
никто не смеет к ним подойти,
Нарком, напившийся в лютый дым,
и тот сворачивает с полпути.
И нам играют «Двадцатый век»,
и нам насвистывают «Караван»,
и смотрит из-под припухших век
Дымок, Серега, он трезв — не пьян.
Однажды он подошел к столу
и Асю вызвал на рок-н-ролл...
И долго-долго он на полу
сидел и в угол к себе ушел.
И я бывал там, и я бывал
с приятной девочкой в табачной мгле,
и столик рядом с ним занимал,
и с ним раскланивался навеселе,
и он мне вежливо кивал в ответ...
И вот однажды я пришел и — нет,
мне нету места, мой занят стол,
четыре финна за ним сидят,
четыре финна в бутыль глядят,
и я, обиженный, почти ушел.
И поднимается тогда Линьков
и говорит мне: «Я вас прошу
в наш балаганчик и в наш альков,
я приглашаю вас, я так скажу...».
В четыре ночи на островах,

где свадьбу празднует поплавок,
Линьков на дружеских ко всем правах
глядит загадочно в потолок.
Гуляет свадьбу Семен Стальной,
через четыре года — расстрел,
а нынче гости стоят стеной
и говорят ему «вери велл».
И млечный медленно ползет рассвет...
Где моя спутница, и где Линьков?
Ну, что же, ладно, раз нет — так нет,
но Ася рядом, обмен готов.
Тем более, что у Пяти Углов
мы проживаем, она и я.
Тут все понятно, не надо слов,
и так составилась судьба моя.
На этом свете все неспроста,
недаром комната моя пуста,
недаром в этот вечер Стальной
мне подарил свой галстук «Диор»,
рассвет июньской голубизной
вползает в узкий глубокий двор.

* * *

Давай уедем.
Давай, давай!
Куда угодно,
за самый край.
На самый краешек?
Он где? Он где?
Наставим рожки
своей судьбе.
Вокзал Балтийский,
купе СВ,
а настроение —
так себе.
Какие улочки!
О, Кадриорг!
Какие булочки!
Восторг, восторг!
Стоишь у ратуши —
поддельный хлам,
И все же рад уже —
что здесь, не там.
Что пахнет Балтикой,
а не Москвой,

и даже практикой
чуть-чуть морской.
На рейде тральщики
и крейсера,
вот это правильная
красота.
Как я любил тебя,
о флот, о флот!
И гюйсы легкие
вразлет, вразлет.
И от дредноута
до катерка
моя бредовая
с тобой тоска.
Возьмите, братики,
меня с собой.
На этой Балтике
я свой, я свой.
Сейчас голландочку
приобрету,
и буду ленточку
держать во рту.
Захватим Данию
и Скагеррак.
Есть в Копенгагене
один кабак.
Я был там, братики,
там все о'кей.
Мы встретим в Арктике
грозу морей.
Вода холодная,
торпедный ад,
они из Лондона,
и — победят.
Гляди в историю,
кто прав, кто нет,
у Ахиллеса был
венок побед.
Но помнит Гектора
подлунный мир,
и Гектор брат ему,
его кумир.
Победа — проигрыш!
Вот в чем вопрос.
И это сказано
почти всерьез...

* * *

Забавно, что наша свадьба
на том «поплавке» состоялась,
где свадьба была Стального,
где рядом сидел Линьков.
Но только гостей немного,
родственников штук двенадцать
да Асины три подруги,
пятерка моих друзей.
Все было в большом порядке:
икорка и осетрина,
и киевские котлеты,
и сам салат «оливье».
А пили «Посольскую» водку,
Шампанское полусухое,
а девочки — «Ркацители»,
под кофе — коньяк «Ереван».
Но было все это недолго,
в двенадцать домой вернулись,
и я подарил невесте
супружеское кольцо.
Она не взяла колечка,
размяла свою сигаретку,
она мне сказала тихо:
«Так вышло, я ухожу».
Я вовсе не удивился,
мне что-то уже показалось,
последние дни невеста
была возбужденно-грустна.
Я что-то предчувствовал вроде
подвоха и катастрофы,
и все же я грубо крикнул:
«Ты что, с ума сошла, почему?»
Она собирала вещи,
укладывала чемоданы,
ведь она уже натаскила
косметику и гардероб.
«Такси мне вызови, милый,
а это возьми на память».
И тут она протянула
бумажник сафьяновый мне.
Весьма дорогую вещицу
с серебряными уголками,
с особым секретным замочком
и надписью «Мистер Картье».
И он у меня сохранился,

конечно, чуть-чуть поистерся,
но, думаю, этот бумажник
переживет и меня.

— Скажи мне что-нибудь, Ася...

— Ты знаешь, сейчас невозможно,
а завтра утром тебе я
подробно все напишу.

И тут загремела трубка,
подъехал таксомоторчик,
и я чемоданы покорно
с шестого спустил этажа.

И только под свежим небом
питерского июня
так долго и одиноко стоял у наших ворот.
Потом я вспомнил — за шкапом
стоит бутылка «Посольской»,
тогда я поднялся обратно
и шторы плотно закрыл...

* * *

«Что за шум, что за гам-таарам?
Кто там ходит по рукам, по ногам?
Машинистке нашей Ниночке Каплан
Коллективом подарили барабан».
Я услышал этой песенки куплет
на углу в «Национале» двадцать лет,
что там двадцать — тридцать лет тому назад,
и вернулся он опять ко мне назад.
Мы сидели впятером за столом.
Были Старостин, Горохов и Роом,
выпив двести или триста коньяка,
сам Олеша пел, валял дурака.
И припомнил я дурацкие слова,
когда к Асе на прощанье заглянул,
мы не виделись три года или два,
а письмо ее, как видно, черт слизнул.
Боже мой, какой восторг, какой кагал,
в тесной комнате персон пятьдесят,
и любой из них котомки собирал
в край, где флаг так звездно-синь-полосат.
Но уж я им никакой не судья,
просто было странновато чуть-чуть,
и хотелось мне, потемки засветя,
лет хоть на десять вперед заглянуть.
Впрочем, что об этом я могу сказать?
Не затем я затесался в тот кружок.

— Ты письмо мне собиралась написать.
— Разве ты не получил его, дружок?
— Ври, да меру знай — прощаемся навек.
— В этом деле меры нету, ты не знал?
— Что Линьков? Вот это да, человек,
я всегда к нему симпатию питал.
— Он в Дубне, уже он член-корреспондент,
наша жизнь не состоялась — я виной.
Обожди-ка на один всего момент,
или лучше — рано утром в выходной,
приходи перед отлетом, и письмо
ты получишь. Я храню его, храню.
— Ах, какое же ты все-таки деръмо!
Я подумаю, быть может, позвоню.
— Позвони. Теперь, пожалуй, мне пора...
До свиданья, эмигранты, бон вояж!
Постоял я, покурил среди двора,
где шумел, гремел светящийся этаж.

* * *

«Нет в мире разных душ,
И времени в нем нет...»
Пожалуй, ты не прав,
классический поэт.
Все-все судьба хранит,
а что — не разгадать.
И все же нас манит
тех строчек благодать.
А время — вот оно, погасшие огни,
густая седина и долгая печаль,
ущедшие на дно десятилетья, дни
и вечная небес рассветная эмаль.
А время — вот оно, беспутный сын-студент,
любовница твоя — ей восемнадцать лет.
А время вот оно —
всего один момент,
но все уже прошло,
вот времени секрет.
И все еще стоят вокруг твои дворцы,
Фонтанка и Нева, Бульварное кольцо.
У времени всегда короткие концы,
у времени всегда высокое крыльцо.
Не надо спорить с ним — какая ерунда!
Быть может, Бунин прав —
но смысл совсем в ином.
Я понимаю так, что время — не беда.
И будет время: все о времени поймем.

Всю жизнь я пробродил по этим вот следам,
и наконец-то я уехал в Амстердам,
всего на десять дней, командировка, чушь!
Но и она успех для наших бедных душ.
И всякий день бывал на Ватерлоо¹ я,
поскольку этот торг и есть душа моя.
Я — барахольщик, я — любитель вторсырья,
что мне куда милей людышек и зверья.
О, Ватерлоо, о, души моей кумир!
Ты — Илиада, ты — и Гектор, и Омир!
Тебя нельзя пройти, ты долог, что Китай,
послушай, погоди, мне что-нибудь продай.
Жидо-масонский знак, башмак и граммофон,
то чучело продай, оно — почти грифон,
продай подшивку мне журнала «На посту»,
о, вознеси меня в такую высоту!
Продай цилиндр и фрак, манишку и трико,
и станет мне опять свободно и легко,
как было там тогда, на Лиговке моей,
вы просто берега двух слившихся морей.
На Лиговке стоит пятидесятый год,
и там моя душа по-прежнему живет,
там нету ничего, на Ватерлоо — есть,
поэтому привет Голландии и честь.
Гуляет Амстердам, и красные огни
мерцают по ночам. Забудь и помяни,
ты лучший городок, в котором я бывал,
там я пропасть бы мог, но видишь — не пропал.
И вот в последний раз зашел я в Рейксмузей,
и стал бродить-гулять по залам, ротозей,
и вдруг — остолбенел, какая ерунда!
Здесь Ася на холсте, вот это да — так да!
Здесь у окна ее Вермеер написал,
но диво — кто ему детали подсказал?
Такой воротничок, надбровную дугу?
Но дальше я — молчок, ни слова, ни гугу.
Что Вена, что Париж, Венеция и Рим?
Езжай-ка в Амстердам, потом поговорим.

¹ Одна из самых больших барахолок Европы, находится в центре Амстердама.

* * *

Покуда «BMW» накатывает мили,
скажи, моя судьба, тебя не подменили?
Лети, моя судьба, туда, на Купертино¹.
Какая у друзей хорошая машина!
Какой стоит денек, какая жизнь в запасе!
Выходит на порог не кто-нибудь, но Ася.
Вот скромненький ее домок в полмиллиона,
и легкий ветерок породы Аквилона.
Скользит рассветный час по нашим старым лицам...
Что Купертино нам, туда, скорей к столицам,
Лос-Анжелес дымит, сверкает Сан-Франциско,
простанство — динамит, а время — это риска,
которой поделен бикфордов шнур судьбы.
Какие у друзей хорошие машины!
Неужто подойду я к Золотым воротам,
неужто Фриско там, за этим поворотом?
Неужто ты ведешь свой «кадиллак» вишневый,
неужто Данте я, а ты Вергилий новый?
А впрочем, это так, а впрочем, так и надо,
Виват, мой кавардак, победа и блокада!
Но как тебя сумел так написать Вермеер?
Изобразить судьбу, лицо, письмо и веер?
Загадочный чертеж на этой старой стенке,
и разгадать твои загадки и расценки?
Что ты читаешь там, свое письмо, чужое?
На белом свете нас осталось только двое.
— Отдай мое письмо.— Оно в твоем портфеле.
Настал тот самый час, и то, что в самом деле
случилось, расскажи. Мне надо знать сегодня,
какая нас свела и разлучила сводня.
Да, я нашел письмо, меня навел Вермеер,
верни мне жизнь мою, ведь я тебе поверил.
Так почему его не бросила ты в ящик?
Предательский твой дух и был всегда образчик
фатальной ерунды, пророческой промашки —
за все мои труды — две узкие бумажки!
Теперь оно со мной. Я пьян, пойду до спальни.
О, Боже, Боже мой, все небеса печальны.
Над Римом, над Москвой, над Фриско, Амстердамом,
над худшую пивной, над лучшим рестораном.
Теперь прощай навек, пора в Нью-Йорк, Чикаго,
вези меня скорей, удача и отвага.
В бумажнике моем лежит твоя разгадка,
как страшен окоем, в Детройте пересадка.

¹ Городок в Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско.

* * *

«Боинг» на «боинг», кирпич на кирпич.
О, поднебесье, эйнштейнова дичь.
Девять часов от Москвы и — Нью-Йорк.
Вулворт на Вулворт, Мосторг на Мосторг.
Джину и тонику низкий поклон,
вот подо мною летит Парфенон.
Но говорит стюардесса: «Друзья,
Больше лететь нам на полюс нельзя.
Нет керосина, посадка сейчас.
Будьте спокойны, команда при вас».
Где мы садимся? Ньюфаундленд тут,
сорок, быть может, посадка минут.
Бог его знает, Ньюфаундленд — что,
остров, пролив или вовсе ничто?
То ли колония, то ли страна,
впрочем, уже под ногами она.
Мы вылетали — кипел Реомюр,
вышли на холод — какой-то сумбур.
Это Ньюфаундленд, впрочем, пойдем,
веет в лицо ленинградским дождем.
Градусов восемь, а может быть — пять,
как бы до бара скорей доскачать.
В барах повсюду один образец,
бар нам и мать, но бар и отец.
Строго и чинно, светло и умно,
виски и вина, а нам все равно.
Пиво бельгийское,
даже сакэ,
знать, не расстанемся мы налегке.
Вспомни, что было, подумай, что есть.
«Сущее — в разуме». Слава и честь
этому Гегелю, вот человек
Фридрих был Гегель. Должно быть, abreк
или, быть может, батыр и джигит,
кто его знает, он так знаменит.
Если бы Гегель явился сейчас,
я бы в минуту бумажник растряс,
дай-ка, товарищ, тебя угощу,
дай-ка тебе мою жизнь освещу.
Что это было, туман и обман?
Что мне ответишь, ума великан?
Слушай-ка, Гегель, скажи мне, дружок,
этот бумажник мне душу прожег.
Вот эти два заповедных листа,
а в остальном моя совесть чиста.
Гегель глядит на мое портмоне,

серый туман в трехэтажном окне.
Вынул письмо я и Гегелю дал,
Гегель читал его, долго читал.
Взял он потом зажигалку «Крокет»,
нежно мерцал переливчатый свет,
эти листы он угрюмо поджег,
пепел кружился, ложился у ног.
Что же ты, Гегель, да ты хулиган!..
Впрочем, наполним последний стакан,
нас вызывают уже в самолет,
Гегель выходит в мужской туалет,
в баре совсем затемняется свет.
Что же ты, Гегель, Владимир Ильич,
камень на камень, кирпич на кирпич.

* * *

И бледнеет Отчизна,
точно штемпель письма.
Предпоследние числа —
вот уж голубизна.

Что нам пишут — туманно,
и ответ — невесом,
и помечен он странно
небывальным числом.

Глянь-ка в ящик почтовый,
узкий вызов на дне.
Синий и кумачовый
флаг кипит в стороне.

Налетай же, воздушный
многоярусный флот.
Ты, пилот простодушный,
бедной жизни оплот.

Пусть читают до света,
забывают, клянут.
Жизни хватит, а нету
двух, пожалуй, минут.

* * *

Северный полюс, проталины, лед,
что же так низко идет самолет,
может, авария? — нет, пронесло.
Вот и в Москве наступает число

нового времени, новых разруш.
Переведи-как свой «Роллекс» и дух.
Вот Шереметьевский ржавый утиль.
Здесь моя сказка и здесь моя быль.
Тридцать ушло в нее ровно годков,
что же сказать мне, порядок таков.
Жизнь — это жизнь, а любовь есть любовь.
Кровь — это кровь. А морковь есть морковь.
Есть еще новь и свекровь — но таков
вечный порядок, к нему я готов.
Ежели надо тут что объяснять,
значит, не надо совсем объяснять.
В будущей жизни увидимся, друг,
может быть, будет нам там недосуг
снова вернуться к старинным делам,
будем гулять там, курить фимиам.
Вот вылезают из брюха шасси,
Боже, помилуй нас всех и спаси.
Темные тени над бедной Москвой,
что за печальный пейзаж городской!
Кончено, конечно, финиш, финал,
все, что имел я, уже потерял.
Дождик осенний затылок сечет,
что миновало — уже не в зачет.
Что наше прошлое — свет и туман,
истое, ложное — это генплан.
Что по генплану построим, друзья?
Знать это нам невозможно, нельзя.
Истина — вот — и ясна и проста.
Возле такси подставляет уста
то, что случилось — всегда навсегда,
наша победа и наша беда.
Наше единое счастье впотьмах,
наши ботинки в наших домах,
наши котлеты на нашей плите...
Гегель лежит в ледяной темноте.
Мы пребываем в низине земли,
слушай, товарищ, гляди и внемли,
ты обручен с этой жизнью одной,
с ней ты повязан, чужой и родной,
крепкие цепи на наших руках,
в этом вертепе — все счастье, все прах.
Так позабудь тот заветный листок,
Гегель его, как ты видел, поджег.
Утро в Нью-Йорке, а вечер в Москве,

все мы подвешены на волоске,
днем в Амстердаме — покой, благодать,
я вам советую там побывать.
Я вам советую как-то домой
взять и вернуться под ваш выходной,
скинуть ботинки и лечь на диван,
все остальное — мираж и обман.
Книгу открыть, поглядеть на жену,
штору задернуть, оставаться в плену.
Это мне Гегель в том баре сказал,
то же он в старых трудах написал.
Камень на камень, кирпич на кирпич,
Гегель ты, Гегель, Владимир Ильич.
